
Николай Подосокорский

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ И «МЕРТВЫЙ ДОМ»

«Записки из Мертвого дома» посвящены жизни арестантов, этого особого рода людей, отделенного и отделяющего себя от остального общества. «Уже в каторге, — писал Л.И. Шестов, — Достоевского больше всего привлекали решительные люди, которые умеют ни перед чем не останавливаться. Он всячески старался разгадать их психологию — но разгадать ему так и не удалось»¹. Шестов считал, что тут разгадки и быть не может: «решительность» ничем не объяснишь. Однако не прошли же даром многолетние старания — кое-что Достоевский смог понять и попытался объяснить; хотя для этого пришлось пересмотреть старые, знакомые взгляды. «Да, преступление, кажется, не может быть осмыслено с данных, готовых точек зрения, и философия его несколько потруднее, чем полагают» (4; 15).

Давно было отмечено, что, несмотря на ряд особенностей, во многом составляющих исключительность, единственность «Записок из Мертвого дома» в творчестве писателя, — это произведение питает все последующие произведения Достоевского. В частности, «Записки» оказались настолько прочно увязаны с наполеоновской темой, играющей в мире Достоевского такую важную роль, что, например, Ф. Ницше откликнулся на них знаменитыми словами о типе преступника и о том, «что ему родственно». В своей работе «Сумерки идолов, или как философствуют молотом» он писал: «Это в обществе, в нашем прирученном, посредственном, оскотинном обществе, сын природы, пришедший с гор или из морских походов, необходимо вырождается в преступника. Или почти

необходимо: ибо бывают случаи, когда такой человек оказывается сильнее общества, — корсиканец Наполеон самый знаменитый тому пример. Для проблемы, являющейся перед нами здесь, важно свидетельство Достоевского — Достоевского, единственного психолога, у которого я мог кое-чему поучиться... Этот *глубокий* человек, который был десять раз вправе презирать поверхностных немцев, нашел сибирских каторжников, в среде которых он долго жил, исключительно тяжких преступников, для которых уже не было возврата в общество, совершенно иными, чем сам ожидал, — как бы выточенными из самого лучшего, самого твердого и драгоценнейшего дерева, какое только растет на русской земле»².

«Конечно, — говорит Достоевский, — преступник, восставший на общество, ненавидит его и почти всегда считает себя правым, а его виноватым» (4; 15). И это обстоятельство, эту аберрацию ума Ницше принял за подлинный закон жизни, который неизбежно сталкивает сильного человека с толпой слабых. История способна и оправдать злодея и честолюбца, особенно если он наделен разносторонним развитием и способен к красивым величественным жестам: Наполеон Бонапарт — самый знаменитый тому пример.

Свидетельство Достоевского, оставленное им в форме записок Александра Петровича Горянчикова, заставляет задуматься о связи наполеоновского мифа и каторжников Мертвого дома, между которыми были «люди сильные, характеры, привыкшие всю жизнь свою ломить и повелевать, закаленные, бесстрашные» (4; 13). Один из таких сильных характеров, «самый решительный, самый бесстрашный из всех каторжных» (4; 84) Петров вспоминает о Наполеоне в разговоре с Горянчиковым:

«— Я вот хотел вас про Наполеона спросить. Он ведь родня тому, что в двенадцатом году был? (Петров был из кантонистов и грамотный.)

— Родня.

— Какой же он, говорят, президент?

Спрашивал он всегда скоро, отрывисто, как будто ему надо было как можно поскорее об чем-то узнать. Точно он справку навел по какому-то очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства.

Я объяснил, какой он президент, и прибавил, что, может быть, скоро и императором будет.

— Это как?

Объяснил я, по возможности, и это. Петров внимательно слушал, совершенно понимая и скоро соображая, даже наклонив в мою сторону ухо.

— Гм. А вот я хотел вас, Александр Петрович, спросить: правда ли, говорят, есть такие обезьяны, у которых руки до пяток, а величиной с самого высокого человека?

— Да есть такие...» (4; 83).

Хотя Петров «наводил справку» про Луи-Наполеона, понятно, что последнего он соотносит с Наполеоном I, этим «величайшим “бандитом” новейших веков»³ (А.И. Герцен). Память о войне 12-го года воссоздавала в разговорах и книгах последующих десятилетий колоритный облик предводителя армии разбойников и мародеров. И.М. Муравьев-Апостол в цикле «Писем из Москвы в Нижний Новгород» (1813–1815) обобщил этот взгляд: «Наполеон в Италии был бы начальником *Бандитов*, в Испании предводительствовал бы *Бандолерами*, сделался бы в Германии *разбойничьим атаманом*; в России — *Пугачевым*; *Гейвеманом* в Англии: в одной Франции он мог царствовать...»⁴. О Наполеоне, который «в двенадцатом году был», у грамотного Петрова есть какие-то глубоко личные, устойчивые представления, из-за которых ему непросто разрешить вопрос: как «родня» того самого Наполеона может быть «законным» главой республики и отцом нации: «Какой же он, говорят, президент?».

20 декабря 1848 г. Луи-Наполеон Бонапарт вступил в должность президента республики. Было понятно, что он исподволь готовит почву для государственного переворота с тем, чтобы реставрировать во Франции империю, а самому стать императором. Однако многие понимали, что и по методам действия, и по личной решимости, и по успехам своего предприятия новый президент не способен затмить славу своего великого дяди⁵, которого он еще в памфлете «Наполеоновские идеи» (1840) уподоблял Христу⁶. «Империя — дело конченное, — писал в эмиграции французский историк и публицист Луи Блан. — Для этого нужна другая Европа и другой полубог, тогда как Луи-Наполеон — это великое имя без великого человека»⁷. Каторжанин Петров, на первый взгляд, интересуется всем и сразу: кажется, что последовательность в его вопросах лишена всякого смысла. А между тем, неожиданный переход в вопросах Петрова от Наполеона к обезьянам проникнут иронией. Для него и Луи-Наполеон — это всего лишь обезьяна, опустившая

руки «до самых пяток», неудачливое, карикатурное подобие того мирового гения преступления, державшего в своих руках полмира, «самого высокого человека» — в смысле авторитета — из всех, о ком он когда-либо слышал. О возможном появлении и проявлении подобной карикатурности упоминал на острове Святой Елены сам Наполеон Бонапарт, когда давал последние заветы римскому королю, известному под прозвищем «Орленка»: «Пусть он [Наполеон II. — *Н.П.*] будет человеком своего времени. Если бы он захотел возобновить мои войны, он был бы всего лишь обезьяной... Пусть читает и размышляет над историей: это единственная подлинная философия»⁸.

Упоминание Петровым имени Наполеона является здесь как бы тем *камнем*, на котором возводится в «Записках» незримое строение тайного, во многом неосознанного, отправления наполеоновского культа среди каторжников Мертвого дома; а сам Петров предстает в качестве одного из «апостолов» Наполеона, проповедывающих его учение. Природа творящего слова, слова, способного вызвать к жизни стоящую за ним реальность, создает новый мир в данном мире. Об этом свойстве онтологичности слова, особенно заметном в произведениях Ф.М. Достоевского, блестяще пишет Т.А. Касаткина: «Слово в его истинном облики, порождающее и понимающее реальность..., должно перестать мыслиться как *средство*... Слово — то, *из* чего возникает строение, как цыпленок из яйца (или джин из бутылки)»⁹. Вспоминая о Наполеоне, Петров вызывает в настоящую реальность и сложившийся миф о покойном императоре. Сам бывший кантонист — один из тех решительных людей, которые «вдруг резко и крупно проявляются и обозначаются в минуты какого-нибудь крутого, поголовного действия или переворота и таким образом разом попадают на свою полную деятельность» (4; 87). Он способен стать одним из множества «малых Наполеонов», ставших носителями явления, получившего в истории название наполеонизма, а в психологии — «комплекса Наполеона» (не случайно автор упоминает, что Петров был «невысокого роста» (4; 82)). «Тщеславие и заносчивость свойственны почти всем арестантам без исключения» (4; 48), но Наполеон-Петров относится к людям с особым видом тщеславия, так что Горянчиков «ни тени фанфаронства или тщеславия... никогда не замечал в нем, как, например, у других» (4; 85). Однако в минуты серьезного гнева, когда разгорался нешуточный спор, он был воистину страшен,

и своим видом приводил в смятение любого арестанта-силача, злого задиру и насмешника, — что хорошо видно в его ссоре с Василием Антоновым за какую-то спорную вещь (4; 85). (Этот случай с Василием Антоновым можно прочесть как «царское приобретение взамен»: Василий — царский (греч.), Антоний — приобретение взамен (греч.). То есть, в этом незначительном, на первый взгляд, споре Петровым была одержана действительно полная наполеоновская победа, выдержан неуступчивый характер Наполеона, этого посланника провиденья, «перед кем склонились цари»¹⁰ — А.С. Пушкин).

Особое значение в «Записках из Мертвого дома» Достоевский отводит проблеме тиранства. Для него до конца оставался невыясненным вопрос: что является более преступным — собственно преступление или бессмысленность наказания. На каторге Горянчиков столкнулся с «нахальностью самовозвеличения, этим преувеличенным мнением о своей безнаказанности» (4; 91) у тех из начальства, которые особенно любили употреблять грозное выражение: «Я царь, я и бог» (4; 91). Именно там он понял, что потребность власти над людьми, дающей возможность «унизить самым высочайшим унижением другое существо, носящее на себе образ Божий», есть поистине ужасная потребность, целиком подчиняющая себе *возжелавшего*. «Тиранство есть привычка, — замечает Горянчиков, — оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь» (4; 154). Схожие слова хроникер Мордасовской летописи употребит в адрес Наполеона-Москалевой в повести «Дядюшкин сон»: «... тирания есть привычка, обращающаяся в потребность» (2; 359).

Проблема наполеоновской тирании красной нитью проходит через комическую повесть «Дядюшкин сон», написанную, когда писателем обдумывался замысел «Записок из Мертвого дома». В обоих произведениях главной мыслью стала опасность утраты человеком своего человеческого облика и превращения его в *зверя*. Грандиозный бестиарий «Дядюшкиного сна» (например, мужчин при гинекократическом режиме, изображенном в повести, не называют иначе как ослами, баранами, собственно *харями* и т.д., а среди женщин существует определенная птичья иерархия: воробьи — сороки — ласточки и более «важные птицы») призван как бы прикрыть ту духовную пустоту обитателей Мордасова, которая образовалась от деспотизма местного Наполеона — Марии Александровны Москалевой, скрыть их стертые человеческие лица

под напускными личинами, за звериными мордами чудовищного Мордасова¹¹.

В главе «Первые впечатления» Горянчиков вспоминает об одной знаменитости, одном бывшем атамане разбойников: «Тот был дикий зверь вполне, и вы, стоя возле него и еще не зная его имени, уже инстинктом предчувствовали, что подле вас находится страшное существо» (4; 47). Об этом атамане Александр Петрович упомянул в связи с знакомством с другим разбойником — Орловым. «Это был злодей, каких мало <...>, человек с страшной силой воли и с гордым сознанием своей силы. <...> Действительно, это был человек не совсем обыкновенный. <...> Положительно могу сказать, что никогда в жизни я не встречал более сильного, более железного характером человека, как он» (4; 47). Образ Орлова также рисуется в «Записках» как образ потенциального «Наполеона»: «Видно было, что этот человек мог повелевать собою безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем вы видели одну бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предположенной цели. Между прочим, я поражен был его странным высокомерием. Он на всё смотрел как-то до невероятности свысока, но вовсе не усиливаясь подняться на ходули, а так как-то естественно» (4; 47). Характерно, что и в образе Орлова можно обнаружить т.н. «наполеоновский комплекс»: про него говорится, что он был не просто невысокого, но «малого роста» (4; 47).

Если сопоставить зверский характер Орлова с поведением птицы орла, жившей некоторое время в остроге, то общим между ними было одиночество и злоба, непримиримость к ограничению собственных намерений. «Зверь! — говорили арестанты с уважением про орла. — Не дается!» (4; 193). Замечательно, что неожиданное для многих возвращение Наполеона на политическую сцену в период «ста дней» вошло в историю как «полет орла» (нужно помнить, что в более широком аспекте орел являлся символом наполеоновской империи).

Стоит также заметить, что *звериную* фамилию в произведениях Достоевского имеет еще один «кандидат в Наполеоны» — Ганя Иволгин. Про этого деспотического героя романа «Идиот» было сказано, что он имел «наполеоновскую бородку» (8; 21), и это еще раз подтверждает тот факт, что в последующих романах писателя наполеоновская тема заметно усложняется. Так наполеонизм

Гаврилы Ардалионовича связан не прямо с Наполеоном Первым; но Ганя соотносится с другим подражателем «могучего баловня побед» — Наполеоном III, имевшим характерную бородку и усы. То есть этот образ не просто пародия, но пародия на пародию, или «обезьяна с обезьяны» (говоря языком арестанта Петрова).

Почитание Наполеона людьми, совершившими преступления или готовыми их совершить, перерастало со временем в наполеонизм последних — презирая остальное человечество, отверженные «сыны природы» стремились возвыситься над массой с помощью решительности, смелости и силы. Достоевский в годы ссылки, возможно, был знаком с еще одним кандидатом в Наполеоны — Ипполитом Иринарховичем Завалишиным, оклеветавшим родного брата своим первым доносом¹². В.П. Колесников нарисовал в «Записках несчастного» трагикомическую сцену: И. Завалишин, уже осужденный на вечную каторгу, с обритой головой, бредущий в цепях... с «какой-то комической надменностью» заявляет своим, погубленным им спутникам: «“Вы не понимаете меня; вы не в состоянии постигнуть моего назначения!” Таптиков и Дружинин, смеючись, сказали: “Уж не думаешь ли ты быть Наполеоном?” — “Почему не так, — сказал он злобно, — знайте, если мне удастся, то от самого Нерчинска до дворца я умощу себе дорогу трупами людей, и первой ступенью к трону будет брат мой!”»¹³. Получивший известность своей дурной славой доносчика и клеветника, Ипполит Завалишин вызывал брезгливое отношение у многих людей. Ю.М. Лотман приводит следующую сцену, описанную тем же Колесниковым: когда арестантов, прибывших по этапу в кандалах из Оренбурга в Уфу, ввели в губернское правление — «все писцы, мгновенно перестав скрипеть перьями, обратились к нам с приметным любопытством. Один заложил себе перо за ухо, другой взял в зубы, иной держал в руке; но все тотчас встали с своих мест и обступили нас. Первый вопрос их, в несколько голосов произнесенный, был: “Кто из вас Завалишин?” <...> С какою-то театральной важностью, выступив вперед и язвительно усмехаясь, он отвечал им: “Что вам угодно? я к вашим услугам!” Подьячие оглядели его с ног до головы и тотчас отступили; один из них сказал: “Ничего, нам хотелось только узнать, что ты за зверь”»¹⁴.

«Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке. Но не равно развиваются звериные свойства человека» (4; 155), — таково заключение Александра Петровича

Горянчикова о свойстве человеческой природы. Тиранизм есть привычка... и перед этой привычкой не мог сохранить свое человеческое лицо даже величайший гений Наполеона, пришедший от деспотизма к самообожествлению. «Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. <...> Человек и гражданин гибнут в тиранизме навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него почти невозможен. К тому же пример, возможность такого своеволия действуют и на всё общество заразительно: такая власть соблазнительна. Общество, равнодушно смотрящее на такое явление, уже само заражено в своем основании» (4; 154).

Наполеоновская тема «Дядюшкиного сна» прочно связана с «Записками» своим ядром — сном дядюшки. В рассказе князя К. Наполеон предстает как озверелый арестант, которого необходимо держать на цепи, чтобы он на людей не стал бросаться (2; 366), как узник Мертвого дома, специально для него устроенного на маленьком острове в океане. Дядюшка, который сам был поразительно похож на Наполеона и одного папу (2; 365), на миг выступает в роли начальника острога, в котором он «царь и бог». Так он готов милостиво разрешить некоторые послабления для преступника: «Ну и разные развлечения для него устроить: театр, музыку, балет — и всё на казённый счет. Гулять бы его выпускал, разумеется под присмотром, а то бы он сейчас улизнул. Пирожки какие-то он очень любил. Ну, и пирожки ему каждый день стряпать. Я бы его, так сказать, о-те-чески содержал. Он бы у меня рас-ка-ялся...» (2; 366). Как эта картина напоминает «сцены из Мертвого дома», созданные Горянчиковым: театр, пирожки, «отеческая забота» начальства о «раскаянии» заключенных (NB. О пирогах сокаторжники Горянчикова пели только в праздник Рождества Христова — время их подлинных развлечений (4; 110)) — все это как бы должно внести жизнь в Мертвый дом, преобразить на какое-то время ту ужасную реальность, в которой разрешается лишь мечтать, причем так, чтобы об этом никто не знал. Ведь как образно пишет Т.А. Касаткина: «Все обитатели острога — мечтатели, стремящиеся “на крыльях мечты” перенестись вперед или назад во времени и присутствовать в реальности, в которой им отказано в настоящий момент»¹⁵.

Тема «Наполеон и Мертвый дом» имела для Достоевского две стороны. Наполеон как непосредственный преступник, а последние шесть лет жизни и узник Мертвого дома, и Наполеон как великий

строитель европейского Мертвого дома. В качестве последнего французский император, выступая в роли «блюстителя мирового порядка» (так, как он его понимал), за различные провинности лишал независимости целые государства, включая их в состав создаваемой империи, в которой все должны были строго подчиняться установленным им правилам¹⁶. Восхищенный этой идеей Наполеона — *созданием нового закона путем преступления старых законов*, — целый ряд последующих героев Достоевского будет создавать собственные проекты строительства нового жилища для человечества, и из конца этого ряда выглядывает еще один зодчий всемирного Мертвого дома — *безымянный Великий инквизитор*.

Замечательно, что и спустя сто лет после «Записок из Мертвого дома» образ Наполеона притягивал к себе внимание самых рядовых преступников. Любопытное свидетельство оставил А.И. Солженицын в своей лагерной эпопее «Архипелаг ГУЛАГ»: «Вот один вор азербайджанского вида, преувеличенно крадучись, в обход комнаты прыгает с вагонки на вагонку по верхним щитам и по работягам и рычит: “Так Наполеон шел в Москву за табаком!” Разжившись табаку, он возвращается той же дорогой, наступая и переступая: “Так Наполеон убежал в Париж!” Каждая выходка блатных настолько поразительна и непривычна, что мы только наблюдаем за ними, разинув рты»¹⁷. Наполеон, этот «бог преступления», настолько глубоко въелся в мировую культуру в качестве образца для подражания, что в самом малом и незначительном, даже преступном намерении, будь то поход вора за табаком, всегда можно увидеть проявление наполеоновских замыслов, наполеоновского характера (наполеоновский = успешный, эффектный). Сам Наполеон считал, что право всегда на стороне сильного и говорил: «Добивайтесь успеха; я сужу о людях только по результатам их действий»¹⁸. И сам Горянчиков, наблюдавший за тем, как меркнет после неудачи слава самых уважаемых на каторге арестантов, подтвердит: «Успех так много значит между людьми...» (4; 229). Культ успеха, потребность в самовозвеличении, сильнейшее желание покуражиться, «уверить даже себя *хоть на время*, что у него воли и власти несравненно больше, чем кажется» (4; 66) составляют давящую атмосферу любого Мертвого дома, который грозит человечеству своим повсеместным расширением и, что самое опасное, разрушением того, что является Домом Живым.

Примечания

¹ **Шестов Л.И.** На весах Иова. — М., 2001. — С. 43. (Преодоление самоочевидностей, V).

² **Ницше Ф.** По ту сторону добра и зла: Сочинения. — М., 2002. — С. 824.

³ **Герцен А.И.** Собрание сочинений в 30 т. Т. 10. — М., 1956. — С. 75.

⁴ Цит. по: **Кошелев В.А.** Изводы национально-исторического «мифа» в творческом сознании Пушкина (Пугачев и Наполеон) // Наполеон. Легенда и реальность: Материалы научных конференций и наполеоновских чтений. 1996–1998. — М., 2003. — С. 215.

⁵ Например, Виктор Гюго в 1852 году написал два знаменитых антибонапартистских памфлета «Наполеон Малый» и «История одного преступления» — оба были посвящены государственному перевороту Луи Бонапарта. В них автор называл Наполеона III «разбойником с большой дороги», «жуликом», «обыкновенным мошенником» и другими уничижительными эпитетами. Но главное, Гюго также видит в новом Наполеоне пример успешного преступления для колеблющегося перед нарушением закона человека: «Несчастный бедняк, который только что оттолкнул от себя мысль о преступлении, жадно глядит на это великолепное зрелище; и безмятежность Бонапарта, и его золотые эполеты, и алая лента, и ливреи, и дворец, и коляска, запряженная четверкой, — все это говорит ему: “Сумей!”» (**Гюго В.** Собрание сочинений в 15 т. Т. 5. — М., 1954. — С. 199).

⁶ **Смирнов А.Ю.** Империя Наполеона III. — М., 2003. — С. 63.

⁷ Цит. по кн.: История Франции в 3 т. Т. 2. / отв. ред. А. З. Манфред. — М., 1973. — С. 324.

⁸ Цит. по кн.: **Вейдер Б.** Блистательный Бонапарт. — М., 1992. — С. 142.

⁹ **Касаткина Т.А.** О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». — М., 2004. — С. 16.

¹⁰ **Пушкин А.С.** Полное собрание сочинений в 10 т. Т. 2. — М., 1963. — С. 176.

¹¹ О наполеоновском мифе в повести «Дядюшкин сон» автор подробнее писал в статье: **Подосокорский Н.Н.** Наполеонизм в повести «Дядюшкин сон» // Достоевский и современность. Материалы XIX-х Международных Старорусских чтений 2004 года. — Великий Новгород, 2005.

¹² **Белов С.В.** Энциклопедический словарь «Ф.М. Достоевский и его окружение». Том I. — СПб., 2001. — С. 308. По крайней мере сам Завалишин в письме к неустановленному лицу от 19 марта 1881 г. называет Достоевского «сибирским товарищем моим», хотя он мог и придумать это знакомство.

¹³ Там же. — С. 683–684.

¹⁴ Цит. по кн.: **Лотман Ю.М.** О Хлестакове // **Лотман Ю.М.** О русской литературе. — СПб., 2005. — С. 682.

¹⁵ **Касаткина Т.А.** Комментарии к кн.: Достоевский Ф.М. Собрание со-

чинений в 9 т. Т. 2. Произведения 1861–1864 гг. — М., 2003. — С. 703.

¹⁶ Любопытно, что в этом смысле В. Гюго видел архитектора Мертвого дома и в Наполеоне III: «Пришлось связать эту одержимую, эту Францию, и Луи Бонапарт надел ей наручники. Теперь она под арестом, на тюремном пайке, посажена на хлеб и воду, наказана, унижена, связана по рукам и ногам, под надежной охраной...» (**Гюго В.** Собрание сочинений в 15 т. — Т. 5. — С. 35).

¹⁷ **Солженицын А.И.** Малое Собрание сочинений. Т. 6. — М., 1991. — С. 148.

¹⁸ Цит. по кн.: **Манфред А.З.** Наполеон Бонапарт. — М., 1971. — С. 546.